

НЕ СЛИШКОМ обширная квартира Эжена Ионеско в доме 96 по бульвару Монпарнас тесно уставлена мебелью и книгами. Это совсем рядом со знаменитыми в свое время кафе, в которых и до войны, и после собирався «весь Париж» изящных искусств — писатели, журналисты, художники: давно ставшая историей «Ротонда» двадцатых годов, ныне здравствующий, хоть и малолюдный теперь «Селект», а напротив сносимый как раз сейчас — один кирпичный остов в туче пыли — «Куполь». Где же еще и жить-то, подумал я, прославленному главе «театра абсурда», как не здесь, на Монпарнасе, так похожем на старую декорацию для пьесы «из литературной жизни».

Сам же мэтр, сидящий в глубоком кресле, оказался лишенным напрочь всякой монументальности и значительности — небольшого роста, лицо в мелких морщинах, тяжелые мешки под глазами, светлые, словно бы выцветшие от времени глаза, мягкое рукопожатие. Он был очень обыкновенный и домашний в своей вязаной просторной куртке и пузирящихся на коленях вельветовых штанах. Жена его, открывшая нам дверь, была еще миниатюрнее своего супруга, с очень добрым и усталым лицом, чем-то напоминавшим мне Джульетту Мазину в «Ночах Кабири», может быть,

боюсь, что мы об этом успели позабыть, а многие и вовсе никогда не слышали... А где вы научились, кстати, говорить по-французски?

И тут меня осенило — мы же с ним не только, с позволения сказать, коллеги, но и в известном смысле земляки.

— Если мэтр позволит, мы могли бы продолжить разговор по-румынски. Дело в том, что я родился в Бессарабии, и румынский наряду с русским — язык моего детства. А вы не забыли его, прожив столько лет в Париже?

Ионеско хлопнул ладонями по подлокотникам кресла:

— Стало быть, мы с вами компатриоты?! Вернее, бывшие компатриоты! — заговорил он по-румынски, и гораздо радужнее, чем прежде. — Вот так штука!.. Естественно, не забыл. Хоть во Францию я переехал полвека назад, в тридцать седьмом, и с тех пор пишу по-французски, но начинал-то я как румынский писатель. И, смею сказать, был уже тогда, на родине, довольно-таки преуспевающим молодым литератором, правда, я тогда занимался больше эссеистикой и критикой. Нет, как же я мог забыть родной язык?! Я и сейчас, знаете ли, очень слежу за всем, что творится на моей бывшей родине.

я всегда был не слишком доверчив и благодушен к тому, что у вас делается. Во всяком случае, к тому, что еще недавно делалось. Меня, как мне объяснили, именно поэтому и не ставили у вас в стране. Однажды, лет двадцать пять назад, напечатили «Носорогов» — и молчок. Да еще изрядно и долго поносили в вашей прессе.

— Перемены в нашей стране коснулись и вас, мэтр. Только в прошлом сезоне в одной Москве поставлены две ваши пьесы — «Стулья» и те же «Носороги», репетируется третья, в альманахе «Современная драматургия» напечатана еще одна, появляются статьи... Пусть и с непростительным запозданием, но вы теперь у нас один из самых популярных западных драматургов. Как, впрочем, и ваш сотоварищ по «театру абсурда» Беккет. Времена меняются, мэтр, и мы меняемся вместе с ними...

— Да, перемены у вас положительно есть, — откинулся он с удовлетворением на спинку кресла, — вот ведь у нас с вами получается вполне открытый разговор, хотя едва ли мы во всем друг с другом согласимся. А то у меня и прежде изредка бывали ваши, советские, и знаете ли — только не обижайтесь, пожалуйста, — такие они были, как бы сказать, кате-

щей на своем пути диалектикой трагизма жизни, после, скажем, Корнеля с его романтизмом, пусть и высокопарным, слишком, что ли, упорядоченным, но — высоким, естественным романтизмом, в девятнадцатом веке пришла драматургия скромных страстей, карликовых чувств, фотографического правдоподобия, дешевой утилитарности. А уж в двадцатом — и подавно. И вот мы — я, Беккет, другие, совершенно независимо друг от друга, — стали показывать мир и жизнь в их реальной, действительной, а не приукрашенной, не подсаканной парадоксальности. Вернее, трагичности. Литература ли, театр ли должны воспитывать, а не учить, тем паче — не поучать. Задавать вопросы, а не давать готовые ответы на все случаи жизни. А еще вернее — давать пищу уму, побуждать его самостоятельно работать. У меня никогда ни на что ответов не было. Театр должен будить мысль, заставлять человека задумываться над собственной жизнью, он должен беспокоить, будоражить, а не подсовывать готовые рецепты. Не мешать человеку самому приходить к тому или иному умозаключению, иметь свой взгляд на мир. Короче, театр призван учить человека свободе выбора.

Театр — это столкновение антагонизмов, противоборств, непримиримых устремлений и целей, это всегда бой, борьба множества сил как в самом человеке, так и вне его. Человек чаще всего и не понимает, не способен объять сознанием, даже чувством всей громады обстоятельств действительности, внутри которой живет. А стало быть, он не понимает и собственной жизни, самого себя. Вот отсюда, из самой этой жизни человеческой, и родился наш театр.

— А вам не кажется, — заметил я, — что этот театр уже сказал свое слово, сыграл свою роль и интерес к нему чуть поугас, во всяком случае, уже не таков, как прежде?

— Едва ли. Ионеско не рассердился, но по тому, как он не сразу ответил на мой вопрос, я понял, что он уже не раз задавал его самому себе.

— Есть ли у вас последователи в молодом поколении писателей, есть ли новые талантливые пьесы или проза, лежащие в вашем же русле или даже идущие дальше, развивающие его? Вот у нас есть несколько драматургов, которых можно назвать вашими последователями. Виктор Славкин, например, автор очень интересных, на мой взгляд, одноактных пьес. Возможно, ваше влияние испытала на себе и Петрушевская, хотя сама она об этом, вероятно, не догадывается...

— По-настоящему ярких, отмеченных большим талантом наших последователей я, пожалуй, не назову. А вот совсем недавно скончавшаяся замечательная писательница Маргерит Юрсенар или философ и эссеист Аллен Блум — они пошли, пожалуй, дальше нас с Беккетом, но в том же направлении.

Кончилось ли время «театра абсурда»?.. Вот вы сказали, что у вас есть его приверженцы. По-моему, пусть каждый пишет, как хочет, как может. Тут важно лишь одно — для того чтобы пробудить в читателе или зрителе свободу, ничем не стесненную мысль, писатель и сам — он-то в первую очередь! — должен быть свободен в собственных мыслях, идеях, в выборе стиля. Совершенно, абсолютно свободен! Проще говоря, он всегда, вопреки всему должен оставаться самим собой.

— Вы верите в то, что театр и сегодня нужен людям?

— О да! Иначе бы я не стал всю жизнь писать для него, а я занимаюсь этим ремеслом вот уже шестьдесят лет без малого! В противном случае я бы занялся чем-нибудь другим, на свете столько увлекательных занятий... Знаете, я когда-то придумал для себя такой афоризм или, точнее говоря, опять же парадокс: театр бесполезен, но необходим. Смысл его вот в чем: театр никому не служит, никому, он свободен от каких бы то ни было обязанностей и обязательств, но именно эта его свобода и необходима людям, чтобы помочь им обрести собственную свободу духа.

Не знаю, как точнее это выразить, но совершенно в том убежден.

— Не находите ли вы противоречия в ваших же словах?

— Это не противоречие, — весело отпарировал мэтр, — всего-навсего еще один парадокс. — И добавил серьезно: — Если бы я в это не верил, какой смысл было бы заниматься тем, чем я занимаюсь?

— В чем же смысл?

— Собственно говоря, мое истинное призвание, как я его всегда понимал, — деятельность не литературная, а, если хотите, духовная, религиозная. — И неожиданно: — Вы верите в Бога?

Вопрос застал меня врасплох:

— В истинном смысле?.. Я слишком, если можно так сказать, дитя своего рационального века, продукт, как принято было у нас некогда говорить, материалистического воспитания...

— А я верю, глубоко верю. Я и должен был бы заниматься именно духовной деятельностью. Но у меня это не получилось, теперь уже неважно, почему. И я избрал литературу. Но для меня она — а тем более театр, разве театр не то же, что церковная кафедра, что публичная проповедь? — литература для меня и есть, всегда была именно видом духовной, если хотите, миссионерской деятельности. Я верю в Бога, вся моя надежда на него, и я глубоко убежден, что писателем движет именно высшее, божественное откровение. Если это честный, благородный писатель, ответственный перед Богом и людьми за все, что выходит из-под его пера, Бог как бы говорит — надеюсь. Он — простит мне это сравнение — устами писателя. Во всяком случае, так должно быть. И я в это верю. Я стараюсь быть именно таким писателем. Хотя это наверняка звучит для вас слишком, что ли, метафизически, вы ведь, надо полагать, атеист, как все советские писатели. — И опять совершенно неожиданно, в упор: — Как вы относитесь к метафизике вообще?

Я счел за лучшее отомолчаться. Но он и не стал дожидаться моего ответа.

— А я метафизик. И как писатель — тоже метафизик, с вашего позволения. И убежден, что побуждать людей размышлять над нравственными категориями, над этической ценностью жизни — это и есть единственный смысл занятия литературой. — В отношении театра вы, стало быть, оптимист. Ну, а в отношении человечества вообще, его будущего? Ведь сейчас развелось столько пессимистов: мир-де катится в пропасть, культура гибнет, цивилизация зашла в тупик...

— И в этом я тоже уповаю на Бога. И на человеческую мысль, на нравственность тоже, разумеется. Угроз сейчас хоть отбавляй — ядерная война, экономические катаклизмы, экологическая катастрофа, расизм, взаимное непонимание, недовольство, голод... Что ж, мир волен шагнуть как в одну, так и в другую сторону. Погибнуть или найти в себе силы выстоять, одуматься, остановиться. Все дело в том, какой выбор мы сделаем, разумный или самоубийственный. Человечество стоит, может быть, перед последним своим выбором. И на Западе, и на Востоке. И перемены, которые происходят у нас... — И в который раз — с надеждой, но и сомнением: — Как вы думаете, обратного хода быть не может?

— Мы-то, поверьте, свой выбор сделали. И, будем надеяться, бесповоротно.

— Будем надеяться. Хотя Горбачеву, надо думать, нелегко приходится, он сделал пока лишь первые шаги, предстоит огромная, тяжелая работа, на это нужно время. И от того, насколько он будет последователем, как далеко готов пойти по пути обновления, многое зависит. Речь идет не только о вас, но и о нас.

— Как и от того, как далеко и искренне готов Запад пойти навстречу.

— Естественно, — согласился мой собеседник, но тут же оговорился: — Хотя, скажу прямо, я всегда был далек от того, чтобы принимать, а тем более оправдывать все, что у вас было прежде, как и от того, чтобы терпеть себя, будто у вас и сейчас все в порядке, все хорошо.

— Мы тоже, представьте себе.

— Тем лучше. И хотя я верю, что все в руках Провидения, в его воле, я не так наивен, чтобы не понимать, что это и в руках самого человечества. Будем надеяться, будем надеяться... Вы не должны обижаться на мои сомнения или опасения насчет того, что делается в вашей стране. Знаете, я долгие годы наблюдал как ваши, с позволения сказать, друзья на Западе, так называемые левые радикальные круги, я бы даже сказал — радикальные интеллигентские «салоны», были готовы найти объяснение и оправдать любое действие Советов — и в Чехословакии двадцать лет назад, и, скажем, в Афганистане...

— Мы нашли в себе мужество и здравый смысл, чтобы признать и постараться исправить многие, пусть и не все, ошибки в нашем собственном прошлом.

— Вот видите, даже то, что вы сами сейчас считаете своими ошибками и просчетами, они готовы были любыми способами оправдать или хотя бы замолчать. Им-то что — сидят себе тут в полной безопасности, сытости и комфорте, а вашим парням в Афганистане пришлось за все платить собственной кровью.

— История далеко не всегда зависит от разума и воли даже обеих сторон...

— История!.. Я решительно не принимаю ее, если она требует оплаты кровью, жестокостью, безнравственностью с чьей бы то ни было стороны. История, вы говорите... Вот, скажем, Французская революция — свобода, равенство, братство. А Робеспьер рубит тысячами невинные головы, и потом приходит какой-нибудь Наполеон...

— Не только Наполеон, но, согласитесь, и весь девятнадцатый век, который, что ни говори, был веком демократии, пусть и, как считают у нас, буржуазной, веком гуманизма, просвещения...

— Но и, как сказал ваш Маркс, эксплуатации человека человеком, в этом с ним трудно не согласиться. Нет, я решительно против всяческой крови и жестокости. Вы скажете — может ли история обойтись без крови?.. Так ведь человечество пока что и не пыталось это испробовать, поставить этот, если хотите, эксперимент. Так вот, пришло ему время, другого, может быть, у нас не будет. Перед этим-то выбором мы и стоим. Я об этом давно думаю и пишу. Кстати, — вдруг вспомнил он, — я тут, в Париже, знаком со многими русскими. Советскими русскими, в том числе и с писателями. Впрочем, может быть, вы предпочитаете называть их «бывшими советскими»?.. Я вот о чем — вам не кажется, что многие из этих ваших «бывших» оказались здесь, на чужбине, только потому, что много лет назад осмелились говорить и писать о том, о чем сейчас можно прочитать на первых страницах любой из ваших официозных газет? Может быть, не такие уж они «бывшие»?.. Впрочем, не мне тут быть судьей, это я так, к слову. — И не без печали добавил: — Я-то уже, собственно, прожил свою жизнь, а у вас у всех, что помолже, — у вас еще столько впереди...

Я не удержался от банального вопроса: — Довольны ли вы своей жизнью, мэтр, какой ее прожили?

— Пожалуй, да. Я сделал все, что мог, и так, как мог. Может быть, кто-нибудь другой на моем месте сделал бы то же самое или даже лучше. Но я жил, как мне казалось, в ладу со своим призванием и совестью. Да, пожалуй, доволен. Не собою, разумеется, — какой же писатель может быть доволен собою?! Мне семидесять шесть лет, я, что называется, преуспел в своем ремесле, меня знают и, как мне представляется, все еще относятся ко мне с некоторым интересом. Я живу в городе, где только, по-моему, и можно жить, с женой, с которой прожил всю жизнь, я пока что, похоже, не надоед публике... Чего же еще?!

— Каково себя чувствовать всемирно знаменитостью, классиком при жизни, honne consacré, как принято у вас говорить, — вы лауреат многих премий, член Французской академии?..

— А никак, — пожал он равнодушно плечами. — Это на меня не давит. Я не чувствую этого. Я вообще давно не питаю иллюзий насчет славы, почестей, лавровых венков. Я иногда кажусь самому себе совсем, знаете ли, маленьким, крошечным перед этим огромным, klokoчущим миром. И перед Богом, если только вы меня понимаете. Маленьким, крошечным, но частью — неотъемлемой частицей этого Эго мира. Только и всего.

Мы проговорили больше двух часов, жена Ионеско несколько раз довольно прозрачно намекала ему и мне, что пора кончать беседу, но он только отмахивался от нее. На прощание мы обменялись книгами — я ему подарил томик своих пьес, он мне — последнее свое сочинение, философское эссе «La Quête intermittente» (я бы это перевел примерно так: «Пунктиры исканий»).

Я вышел на Монпарнас. С грохотом рухнула под ударом чуждого ядра стена кафе «Куполь» — одного из последних прибежищ парижского многоплеменного братства служителей муз. Парадоксов на свете хватает, подумал я, абсурдов тоже. Но жив Париж, и в нем живет драматург, чье имя неотделимо от летописи наших дней. В его абсурде и парадоксах — тревожные вопросы, на которые нам не миновать искать ответы.

ПАРИЖ — МОСКВА

«ТЕАТР БЕСПОЛЕЗЕН, НО НЕОБХОДИМ»

С ЭЖЕНОМ
ИОНЕСКО
беседует
драматург
Юлиу
ЭДЛИС

из-за глаз — больших, смешливых и вместе с тем печальных.

Молодая дама из Пен-клуба, с которой я пришел к Ионеско, представила меня.

— Вас собираются принять в наш Пен-клуб? — с недоверчивым любопытством покосился мэтр. — А у вас не могут быть из-за этого дома неприятности?

— Думаю, что нет. У нас переменился взгляд на подобные вещи. Мы теперь заинтересованы в более тесных связях с различными писательскими организациями на Западе. Что же до меня, так эта честь мне оказана, я полагаю, исключительно из-за того, что я написал две пьесы из французской истории — о Жанне д'Арк и о Франсуа Вийоне. Да и сейчас я в Париже в связи с идеей франко-советского телевизионного фильма о Стендале — Стендаль в Москве во время русского похода. Наполеона: война, гибель великой армии, крушение бонапартистских иллюзий, крах империи, не говоря уже о несчастной любви — а и любовь волею случая тоже связала Стендала с Россией, — сделали из известного интендантского офицера Анри Бейля великого писателя Стендала, ему оставалось лишь написать свои романы...

— Интересно, очень интересно, — вежливо и достаточно безразлично прокомментировал Ионеско сказанное мною, —

Тут, на Западе, мы связываем большие, хоть пока что и опасливые, надежды с перемеными, которые происходят в вашей стране. А вы?.. Вы верите, что вам удастся довести их до конца?

— У нас просто-напросто нет альтернативы. Это единственный выбор, который нам оставила история. Верим, хоть и вполне отдаем себе отчет в том, как это будет непросто, сколько упорства и времени потребуются, не говоря уж о терпении...

— Терпение, да... Я тоже хотел бы надеяться, что у вас все получится. Преодолеть социальную пассивность, ставшую давней привычкой, побудить людей плодотворно и, главное, свободно трудиться, а еще важнее — свободно и без страха мыслить, действовать сообразно с совестью, возратить им чувство собственного достоинства и безопасности — это, наверное, самое главное. И самое трудное. А это необходимо и для всего остального. — И не скрывая усмешки: — Вот же вы признались, что у вас все-таки существуют некоторые отдельные затруднения именно в экономике! Отсюда, издалека, нам кажется, что у вас действительно происходит нечто очень важное. И — решительно. — Он опять испытующе покосился на меня: — Вы, вероятно, слышали, что

горичные, нетерпимые. А ведь чтобы понять человека иных взглядов, пусть даже и ошибочных на ваш вкус, надо по крайней мере его выслушать, прежде чем опровергать. Одним словом, у нас на Западе много ждут от того, что происходит у вас, на Востоке. Мне бы хотелось, чтобы там, у вас, об этом знали и помнили.

Как странно — вы не находите? — сидят два драматурга и говорят все о политике, а не о театре...

— Раз уж вы о нем заговорили, скажите, мэтр, откуда такой совершенно неожиданный, никем не предсказанный взрыв «театра абсурда» в пятидесятые годы? Или, может быть, он так или иначе был подготовлен литературой, скажем, Джойсом, Кафкой?.. Или, положим, авангардом в живописи — Пикассо, Шагал, кубисты, супрематисты?

— Даже еще раньше. «Театр абсурда» — впрочем, этот термин придумали не мы, драматурги, а какой-то, кажется, немецкий критик, критики всегда что-нибудь да придумают такое, что потом не открывшись, вернее было бы назвать то направление, к которому я принадлежу, парадоксальным театром, точнее даже — «театром парадокса», — так вот, этот театр возник не на пустом месте. Многие писатели, сами того не подозревая, его подготавливали, в частности ваши русские — Гоголь, Достоевский. Разумеется, Кафка, Джойс, Фолкнер. Как и, согласен с вами, новые живописцы — и опять ваши тоже: Малевич, Кандинский, Шагал, Бакст... А если уж говорить о драматургии, то никак нельзя не упомянуть Чехова. Да-да, Чехов! Он вообще сейчас очень у нас популярен, может быть, более, чем любой другой русский писатель. Разве жизнь в его пьесах не парадоксальна, не абсурдна с точки зрения усредненного здравого смысла?.. Да и Шекспир приложил руку к «театру абсурда», — помните, у него в «Макбете»: «мир, родившийся в беспамьястве безумца»? Точно не помню. Мир, жизнь до крайности несообразны, противоречивы, необъяснимы тем же здравым смыслом или рационалистическими выкладками. И человеку в этом мире, особенно в нынешней технократической, жестокой, сорвавшейся с цепи, вышедшей из-под его повиновения цивилизации, приходится год от года все труднее, все непосильнее. Видите ли, после Шекспира с его мощной, все сметаю-